

Антон Чехов — Переполох: Рассказ

Машенька Павлецкая, молоденькая, едва только кончившая курс институтка, вернувшись с прогулки в дом Кушкиных, где она жила в гувернантках, застала необыкновенный переполох. Отворявший ей швейцар Михайло был взволнован и красен, как рак.

Сверху доносился шум.

«Вероятно, с хозяйкой припадок... — подумала Машенька, — или с мужем поссорилась...»

В передней и в коридоре встретила она горничных. Одна горничная плакала. Затем Машенька видела, как из дверей её комнаты выбежал сам хозяин Николай Сергеич, маленький, ещё не старый человек с обрюзгшим лицом и с большой плешью. Он был красен. Его передёргивало... Не замечая гувернантки, он прошёл мимо неё и, поднимая вверх руки, воскликнул:

— О, как это ужасно! Как бестактно! Как глупо, дико! Мерзко!

Машенька вошла в свою комнату, и тут ей в первый раз в жизни пришлось испытать во всей остроте чувство, которое так знакомо людям зависимым, безответным, живущим на хлебах у богатых и знатных. В её комнате делали обыск. Хозяйка Федосья Васильевна, полная, плечистая дама с густыми чёрными бровями, простоволосая и угловатая, с едва заметными усиками и с красными руками, лицом и манерами похожая на простую бабу-кухарку, стояла у её стола и вкладывала обратно в рабочую сумку клубки шерсти, лоскутки, бумажки... Очевидно, появление гувернантки было для неё неожиданно, так как, оглянувшись и увидев её бледное, удивлённое лицо, она слегка смутилась и пробормотала:

— Pardon, [Извините (франц.)] я... я нечаянно рассыпала... зацепила рукавом...

И сказав ещё что-то, мадам Кушкина зашуршала шлейфом и вышла. Машенька обвела удивлёнными глазами свою комнату и, ничего не понимая, не зная, что думать, пожала плечами, похолодела от страха... Что Федосья Васильевна искала в её сумке? Если действительно, как она говорит, она нечаянно зацепила рукавом и рассыпала, то зачем же выскочил из комнаты такой красный и взволнованный Николай Сергеич? Зачем у стола слегка выдвинут один ящик? Копилка, в которую гувернантка прятала

гривенники и старые марки, была отперта. Её отпёрли, но запереть не сумели, хотя и исцарапали весь замок. Этажерка с книгами, поверхность стола, постель — всё носило на себе свежие следы обыска. И в корзине с бельём тоже. Бельё было сложено аккуратно, но не в том порядке, в каком оставила его Машенька, уходя из дому. Обыск, значит, был настоящий, самый настоящий, но к чему он, зачем? Что случилось? Машенька вспомнила волнение швейцара, переполох, который всё ещё продолжался, заплаканную горничную; не имело ли всё это связи с только что бывшим у неё обыском? Не замешана ли она в каком-нибудь страшном деле? Машенька побледнела и вся холодная опустилась на корзину с бельём.

В комнату вошла горничная.

— Лиза, вы не знаете, зачем это меня... обыскивали? — спросила у неё гувернантка.

— У барыни пропала брошка в две тысячи... — сказала Лиза.

— Да, но зачем же меня обыскивать?

— Всех, барышня, обыскивали. И меня всю обыскали... Нас раздевали всех догола и обыскивали... А я, барышня, вот как перед богом... Не то чтоб ихнюю брошку, но даже к туалету близко не подходила. Я и в полиции то же скажу.

— Но... зачем же меня обыскивать? — продолжала недоумевать гувернантка.

— Брошку, говорю, украли... Барыня сама своими руками всё обшарила. Даже швейцара Михайлу сами обыскивали. Чистый срам! Николай Сергеич только глядит да кудахчет, как курица. А вы, барышня, напрасно это дрожите. У вас ничего не нашли! Ежели не вы брошку взяли, так вам и бояться нечего.

— Но ведь это, Лиза, низко... оскорбительно! — сказала Машенька, задыхаясь от негодования. — Ведь это подлость, низость! Какое она имела право подозревать меня и рыться в моих вещах?

— В чужих людях живёте, барышня, — вздохнула Лиза. — Хоть вы и барышня, а всё же... как бы прислуга... Это не то, что у папаши с мамашей жить...

Машенька повалилась в постель и горько зарыдала. Никогда ещё над нею не совершали такого насилия, никогда ещё её так глубоко не оскорбляли, как теперь... Её, благовоспитанную, чувствительную девицу, дочь учителя, заподозрили в воровстве, обыскали, как уличную женщину! Выше такого

оскорбления, кажется, и придумать нельзя. И к этому чувству обиды присоединился ещё тяжёлый страх: что теперь будет!? В голову её полезли всякие несообразности. Если её могли заподозрить в воровстве, то, значит, могут теперь арестовать, раздеть догола и обыскать, потом вести под конвоем по улице, засадить в тёмную, холодную камеру с мышами и мокрицами, точь-в-точь в такую, в какой сидела княжна Тараканова. Кто вступится за неё? Родители её живут далеко в провинции; чтобы приехать к ней, у них нет денег. В столице она одна, как в пустынном поле, без родных и знакомых. Что хотят, то и могут с ней сделать.

«Побегу ко всем судьям и защитникам... — думала Машенька, дрожа. — Я объясню им, присягну... Они поверят, что я не могу быть воровкой!»

Машенька вспомнила, что у неё в корзине под простынями лежат сладости, которые она, по старой институтской привычке, прятала за обедом в карман и уносила к себе в комнату. От мысли, что эта её маленькая тайна уже известна хозяевам, её бросило в жар, стало стыдно, и от всего этого — от страха, стыда, от обиды началось сильное сердцебиение, которое отдавало в виски, в руки, глубоко в живот.

— Пожалуйста кушать! — позвали Машеньку.

«Идти или нет?»

Машенька поправила причёску, утёрлась мокрым полотенцем и пошла в столовую. Там уже начали обедать... За одним концом стола сидела Федосья Васильевна, важная, с тупым, серьёзным лицом, за другим — Николай Сергеич. По сторонам сидели гости и дети. Обедать подавали два лакея во фраках и белых перчатках. Все знали, что в доме переполох, что хозяйка в горе, и молчали. Слышны были только жеванье и стук ложек о тарелки.

Разговор начала сама хозяйка.

— Что у нас к третьему блюду? — спросила она у лакея томным, страдальческим голосом.

— Эстуржон аля рюсс! — ответил лакей.

— Это, Феня, я заказал... — поторопился сказать Николай Сергеич. — Рыбы захотелось. Если тебе не нравится, *ma chère*, [моя дорогая (франц.)] то пусть не подают. Я ведь это так... между прочим...

Федосья Васильевна не любила кушаний, которые заказывала не она сама, и теперь глаза у неё наполнились слезами.

— Ну, перестанем волноваться,— сказал сладким голосом Мамиков, её домашний доктор, слегка касаясь её руки и улыбаясь также сладко.— Мы и без того достаточно нервны. Забудем о броши! Здоровье дороже двух тысяч!

— Мне не жалко двух тысяч! — ответила хозяйка, и крупная слеза потекла по её щеке.— Меня возмущает самый факт! Я не потерплю в своём доме воров. Мне не жаль, мне ничего не жаль, но красть у меня — это такая неблагодарность! Так платят мне за мою доброту...

Все глядели в свои тарелки, но Машеньке показалось, что после слов хозяйки на неё все взглянули. Комок вдруг подступил к горлу, она заплакала и прижала платок к лицу.

— Pardon,— пробормотала она.— Я не могу. Голова болит. Уйду.

И она встала из-за стола, неловко гремя стулом и ещё больше смущаясь, и быстро вышла.

— Бог знает что! — проговорил Николай Сергеич, морщась.— Нужно было делать у неё обыск! Как это, право... некстати.

— Я не говорю, что она взяла брошку,— сказала Федосья Васильевна,— но разве ты можешь поручиться за неё? Я, признаюсь, плохо верю этим учёным беднячкам.

— Право, Феня, некстати... Извини, Феня, но по закону ты не имеешь никакого права делать обыски.

— Я не знаю ваших законов. Я только знаю, что у меня пропала брошка, вот и всё. И я найду эту брошку!— она ударила по тарелке вилкой, и глаза у неё гневно сверкнули.— А вы ешьте и не вмешивайтесь в мои дела!

Николай Сергеич кротко опустил глаза и вздохнул. Машенька между тем, придя к себе в комнату, повалилась в постель. Ей уже не было ни страшно, ни стыдно, а мучило её сильное желание пойти и отхлопать по щекам эту чёрствую, эту надменную, тупую, счастливую женщину.

Лёжа, она дышала в подушку и мечтала о том, как бы хорошо было пойти теперь купить самую дорогую брошь и бросить её в лицо этой самодурке.

Если бы бог дал, Федосья Васильевна разорилась, пошла бы по миру и поняла бы весь ужас нищеты и подневольного состояния, и если бы оскорблённая Машенька подала ей милостыню! О, если бы получить большое наследство, купить коляску и прокатить с шумом мимо её окон, чтобы она позавидовала!

Но всё это мечты, в действительности же оставалось только одно — поскорее уйти, не оставаться здесь ни одного часа. Правда, страшно потерять место, опять ехать к родителям, у которых ничего нет, но что же делать? Машенька не могла видеть уже ни хозяйки, ни своей маленькой комнаты, ей было здесь душно, жутко. Федосья Васильевна, помешанная на болезнях и на своём мнимом аристократизме, опротивела ей до того, что кажется, всё на свете стало грубо и неприглядно оттого, что живёт эта женщина. Машенька прыгнула с кровати и стала укладываться.

— Можно войти? — спросил за дверью Николай Сергеич; он подошёл к двери неслышно и говорил тихим, мягким голосом. — Можно?

— Войдите.

Он вошёл и остановился у двери. Глаза его глядели тускло и красный носик его лоснился. После обеда он пил пиво, и это было заметно по его походке, по слабым, вялым рукам.

— Это что же? — спросил он, указывая на корзину.

— Укладываюсь. Простите, Николай Сергеич, но я не могу более оставаться в вашем доме. Меня глубоко оскорбил этот обыск!

— Я понимаю... Только вы это напрасно... Зачем? Обыскали, а вы того... что вам от этого? Вас не убудет от этого.

Машенька молчала и продолжала укладываться. Николай Сергеич пощипал свои усы, как бы придумывая, что сказать ещё, и продолжал заискивающим голосом:

— Я, конечно, понимаю, но надо быть снисходительной. Знаете, моя жена нервная, взбалмошная, нельзя судить строго...

Машенька молчала.

— Если уж вы так оскорблены,— продолжал Николай Сергеич,— то извольте, я готов извиниться перед вами. Извините.

Машенька ничего не ответила, а только ниже нагнулась к своему чемодану. Этот испитой, нерешительный человек ровно ничего не значил в доме. Он играл жалкую роль приживала и лишнего человека даже у прислуги; и извинение его тоже ничего не значило.

— Гм... Молчите? Вам мало этого? В таком случае я за жену извиняюсь. От имени жены... Она поступила нетактично, я признаю, как дворянин...

Николай Сергеич прошёлся, вздохнул и продолжал:

— Вам надо ещё, значит, чтоб у меня ковыряло вот тут, под сердцем... Вам надо, чтобы меня совесть мучила...

— Я знаю, Николай Сергеич, вы не виноваты,— сказала Машенька, глядя ему прямо в лицо своими большими заплаканными глазами.— Зачем же вам мучиться?

— Конечно... Но вы всё-таки того... не уезжайте... Прошу вас.

Машенька отрицательно покачала головой. Николай Сергеич остановился у окна и забарабанил по стеклу.

— Для меня подобные недоразумения — это чистая пытка,— проговорил он.— Что же мне, на колени перед вами становиться, что ли? Вашу гордость оскорбили, и вот вы плакали, собираетесь уехать, но ведь и у меня тоже есть гордость, а вы её не щадите. Или хотите, чтоб я сказал вам то, чего и на исповеди не скажу? Хотите? Послушайте, вы хотите, чтобы я признался в том, в чём даже перед смертью на духу не признаюсь?

Машенька молчала.

— Я взял у жены брошку! — быстро сказал Николай Сергеич.— Довольны теперь? Удовлетворены? Да, я... взял... Только, конечно, я надеюсь на вашу скромность... Ради бога, никому ни слова, ни полнамёка!

Машенька, удивлённая и испуганная, продолжала укладываться; она хватала свои вещи, мяла их и беспорядочно совала в чемодан и корзину. Теперь, после откровенного признания, сделанного Николаем Сергеичем, она не

могла оставаться ни одной минуты и уже не понимала, как она могла жить раньше в этом доме.

— И удивляться нечего...— продолжал Николай Сергеич, помолчав немного.— Обыкновенная история! Мне деньги нужны, а она... не даёт. Ведь этот дом и всё это мой отец наживал, Марья Андреевна! Всё ведь это моё, и брошка принадлежала моей матери, и... всё моё! А она забрала, завладела всем... Не судиться же мне с ней, согласитесь... Прошу вас, убедительно, извините и... и останьтесь. *Tout comprendre, tout pardonner.* [Всё понять, всё простить (франц.)] Остаётесь?

— Нет! — сказала Машенька решительно, начиная дрожать.— Оставьте меня, умоляю вас.

— Ну, бог с вами,— вздохнул Николай Сергеич, садясь на скамеечку около чемодана.— Я, признаться, люблю тех, кто ещё умеет оскорбляться, презирать и прочее. Век бы сидел и на ваше негодующее лицо глядел... Так, стало быть, не остаётесь? Я понимаю... Иначе и быть не может... Да, конечно... Вам-то хорошо, а вот мне так — тпррр!.. Ни на шаг из этого погреба. Поехать бы в какое-нибудь наше имение, да там везде сидят эти жёнины прохвосты... управляющие, агрономы, чёрт бы их взял. Закладывают, перезакладывают... Рыбы не ловить, травы не топтать, деревьев не ломать.

— Николай Сергеич! — слышался из залы голос Федосьи Васильевны.— Агния, позови барина!

— Так не остаётесь? — спросил Николай Сергеич, быстро поднимаясь и идя к двери.— А то бы остались, ей-богу. Вечерком я заходил бы к вам... толковали бы. А? Останьтесь! Уйдёте вы, и во всём доме не останется ни одного человеческого лица. Ведь это ужасно!

Бледное, испитое лицо Николая Сергеича умоляло, но Машенька отрицательно покачала головой, и он, махнув рукой, вышел.

Через полчаса она была уже в дороге.